

андрей расторгуев



ИСТОРИИ

РУССКИЕ ИСТОРИИ

Андрей Петрович Расторгуев

Русские истории

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8508878

*Русские истории : Стихи, поэмы / Андрей Расторгуев: Генри Пушель,
Российский писатель; Екатеринбург, Москва; 2014
ISBN 978-5-905672-16-3, 978-5-91642-141-5*

Аннотация

Андрей Расторгуев – яркий представитель поколения «новых шестидесятников», которое рождено в 1960-е годы и вошло в русскую литературу в 1990-е на переломе эпох. Продолжая и развивая национальную поэтическую традицию, автор вносит в неё собственные, современные ноты и краски. В новую книгу поэт включил избранные и новые стихотворения, циклы стихов и поэмы, написанные за более чем два десятилетия.

Содержание

Всегда – с надеждой	7
След на земле	10
Русская карта	11
I	11
II	12
«Вот сюжет традиционный...»	13
Печорский складень	15
I	15
II	16
III	17
Тридцать шесть и семь	19
Вот и мы первый тайм отыграли	20
I	20
II	22
III	25
IV	28
«Из трещинок и нор...»	30
«Стрижи, как будто хлопья сажи...»	32
Куросан[1]	33
«Бабым летом на сытой ярмарке...»	35
«Сбережение памяти – долгий невидимый труд...»	36
«Здравствуй, мама!...»	37

«Снова потратили в отпуске тысячу баксов...»	39
Анапское солнце	41
I	41
II	42
III	43
IV	45
«Нынче такая жара...»	48
Игра в города	49
«Прихотлива человечья воркота...»	50
«Однажды в единении с народом...»	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Андрей Расторгуев

Русские истории

(СТИХИ, ПОЭМЫ)

*К ночному исходу, когда мы невольны и слабы,
на звёздную россыпь в небесной дали посмотри:
Большая Медведица встала на задние лапы,
ища на востоке приметы грядущей зари.*

*Над лесом и степью, над Волгой, Амуром и Обью
за тёмною ночью опять наступает рассвет.
Россия всегда на любовь отвечает любовью,
да жаль – за ветрами не каждому слышен
ответ...*

*Икона, звезда или птица на месте почётном —
нанёсшая и залечившая множество ран
Россия всегда на распутье меж белым и чёрным,
от моря до моря бездонный сама океан.*

*И пламя займётся, и сердце сильнее забьётся,
и станет яснее дорога, увидишь когда
Медведицу Малую – ковшик над краем колодца,
откуда струится на землю живая вода.*

© Расторгуев А.П., 2014

© Колинко Ю.А., оформление, 2014

© Издательство «Генри Пушель», 2014

© Издательство «Российский писатель», 2014

Русские истории : Стихи, поэмы / Андрей
Расторгуев ; художник Ю. Колинко. – Екатеринбург :
Генри Пушель; Москва : Российский писатель, 2014. –
192 с.

ISBN 978-5-905672-16-3 (Генри Пушель)

ISBN 978-5-91642-141-5 (Российский писатель)

Всегда – с надеждой



Заглавие этой книги – «Русские истории» – отнюдь не означает, что речь в ней идёт об исключительно русских делах и людях. Напротив: составляя рукопись, сам удивился, сколько в ней оказалось инородцев: армяне, финно-угры, евреи, немцы, даже персы – правда, тысячелетней давности...

Хотя удивляться вроде нечему: пускай словечко «нацмены» из советского индустриального новояза на родном Урале временами ещё звучало, интернационал в большом городе, который возник в 1929 году вместе с металлургическим комбинатом, воспринимался совершенно естественно. Была, однако, у этой межэтнической идиллии обратная сторона: собственная моя принадлежность к крупнейшему из народов многонационального Отечества на выходе из школы определялась, по сути, только записью в паспорте.

Всё произошло потом. И погружение в русский фольклор, который отнюдь не без труда отвоевал себе место у иных ладов и звуков. И узнавание собственного родового древа – кстати, тоже отнюдь не моноэтнического и размахнувшегося корнями не только на Великую, но и на Малую и Белую Русь... И жизнь в северной республике, ярко явившая не только общую необходимость убереечь родные языки и культуры перед лицом наступающей глобальной унификации, но и национализм некоторых из представителей титульного народа. И осознание: именно те, кто умеет соединить открытость миру с пониманием причастности к своим народам и общности их судеб, способны сохранить Россию хотя бы в её нынешних пределах.

Всё это имеет прямое отношение к поэзии – во всяком случае, той, которая ощущает взаимную связь с чем-то бóльшим, нежели причудливо выраженные переживания автора по поводу сугубо личных неурядиц и радостей. Однако такой

поэзии тем более необходимы искренность и художественное мастерство, проникающие под затёртую кожу.

К этому и стремился многие годы, плоды которых вошли в эту книгу. Без лишнего пафоса и теперь уже без особых иллюзий. Но всегда – с надеждой...

Андрей Расторгуев

След на земли



Ой рябина, рябина
жизню покарябана
Так рябина рожена-
слаще коль морожена...

с л е д н а з е м л и

Русская карта

I

Я и в Господа слабо – не то, что в судьбу или карму:
одному не под силу – сумеем рядком да ладком...
А наемни взгляделся в родимую русскую карту —
и овеяло тёплую плоть изнутри холодком.

На брюхатой кобыле, на миг обернувшейся твердью,
едет маленький всадник полярные дни напролёт.
Он спиной на восток прислонился к морозному ветру,
а на запад лицом проголосную песню поёт.

То ли грудь выгибается в длинном серебряном звуке,
то ли тонкие плечики долгой дорогой свело —
раскрываются миру его неокрепшие руки,
упираются ноги в подбитое мехом седло.

Так рысит и поёт бессловесно – ребёнок ребёнком,
и молозиво каплет с кобыльих сосцов на жнивьё...
А когда, наконец, разродится она жеребёнком —
всё равно не убавится тяжкая ноша её.

II

Смешанных памятей и кровей,
мы отродясь о себе забыли.
То ли невиданный муравей
тащит на запад брюшко Сибири,
то ли неведомый скарабей,
пену холодной волны глотая,
от монотонных степных скорбей
катит угрозой ком Китая,
то ли громадный живучий краб,
чувствуя жгучую боль в груди,
держится, чтобы ни край, ни град
не разорвались посередине.

«Вот сюжет традиционный...»

Вот сюжет традиционный
со времён Луи Дагера
или красочных портретов
принаряженных инфант:
перед фотообъективом
двое – девочка и мальчик.
У неё – витые кудри,
у него – на блузе бант.

Даты нет на обороте —
лишь рекламные медали
да по толстому картону
надпись: «Тереховъ и Сынъ».
В старом Екатеринбурге
это в нескольких кварталах
от Ипатьевского дома,
что ещё не знаменит...

Вот ещё сюжет сюжетов:
у старинного буфета
смотрит девочка другая
удивлённо в объектив.
С нею рядышком – старуха.
И едва ли уловимо
сходство с девочкою первой

на морщинистом лице.

Между девочками теми —
поколения и горы,
панихиды и крестины,
две германские войны.
А прошла – и уместилась
под картонную обложкой
одного фотоальбома
человеческая жизнь...

Печорский складень

I

В истоке великой Печоры
я воду прохладную пил...
Какого, казалось бы, чërта
я в этом ручье позабыл?
Глядеть с вертолëта на ельник
и остерегаться беды,
чтоб горный сорвать можжевельник
да чистой напиться воды?

Но так заберёт имярека
недолгое слово «исток» —
любая цена не морока
за животворящий глоток
и чтобы в мирской дешевизне
на слово и тело своё
узнать завершение жизни,
вкусив и начало её.

II

Когда родниковой водой
прочистить мужицкие глотки,
на той же воде не гадай —
потребуют водки...

Пошли разговоры искристей —
рыбалка, рецепты ухи...
И через распахнутый блистер
стекло полетело во мхи!
Сосед, поклоняясь природе,
пустил опустелый сосуд —
на память нетленную вроде,
что мы побывали и тут...

И сердце ударило глухо,
и дрогнула линия гор
с диковинным русскому слуху
названием Маньпупунёр,
где по суетливости нашей
у звёздно-земных берегов
оставлены семеро стражей
одним из вогульских богов.

Сейчас отзовутся по лонам
удары тяжёлых шагов.

Сейчас вознесутся над склоном
семь жестоколюбых голов...
Но, глядя в речные долины
и видя небесное дно,
остыли давно исполины
и остолбенели давно.
И, метя железные стрелы
в их каменные глаза,
вдогонку за нами гремела
в бессильной досаде гроза,
покуда гряда междуречья
виднелась в туманной дали...

Дурацкая блажь человечья —
оставить свой след на земли.

III

Избитая брёвнами запань
уже далеко позади.
Откидывай выцветший запон,
на палубу выходи!
Блескучие блики похожи
на пряди серебряных трав,
и, словно по скошенной пожне,
идут по реке катера.
В бору земляника поспела,

и скоро черника пойдёт.
А там и важнейшее дело
рыбацкое – сёмужий ход.
Охота на всякого зверя —
в открытую и отай...
И напоминаньем о мере
на вырубках – иван-чай.

Тридцать шесть и семь

В городке не высоком, не низком
и тебе от рождения близком
ты живёшь, не меняя прописку,
от добра не желая добра.
Хоть жена мне – а не декабристка.
Да и незачем, коль севера.

Я и сам полюбил их воочью
потаённую белою ночью,
упоённый печорскою мощью,
и того не стереть, хоть убей,
даже тучами, рваными в клочья
о крюки обнажённых ветвей.

И как будто любовь между нами.
Но, как будто в дешёвом романе,
ты меня упрекаешь в обмане
и печальный подводишь итог:
мол, приехал, наплёл, отуманил,
а теперь норовишь за порог...

Севера вы мои, севера...
Я на свет родился не вчера.

Вот и мы первый тайм отыграли

I

Вот и мы первый тайм отыграли.
Тридцать шесть, как один, миновали,
и подумать о том не пора ли,
где роднее и мягче земля?
Все могилы мои на Урале —
за две тысячи верст киселя...

Молодые пускай отмахнутся,
пожилые пускай усмехнутся,
но мгновение – и запахнутся
от промозглого сквозняка,
если в толще земной ворохнутся
потревоженные века.

Я уже отмахнуться не смею,
усмехнуться – ещё не умею,
и осенней порою немею,
глядя, как высыхает трава
и река, остывая, темнеет,
и редет живая листва...

Что за обереги и чуры?
Повышение температуры,
или просто литература
перехлестывает за край?
Утончённые мы натуры —
всё Дантеса нам подавай.

Тридцать семь – и зайдётся сердечко,
и мерещится Чёрная речка,
и картонные человечки,
и возвышенные слова...
И затеплившаяся свечка
перед образом Покрова...

Сколько начато – будто начерно,
сил потрачено – точно в дым...
Годы минули – силы схлынули.
Вполовину ли – поглядим...

Или это холодной тьмой —
окаянный тридцать седьмой?
Он у каждого века свой,
если даже век золотой...

Помню похороны отца.
Мы с ним ссорились без конца.
Лей поболе свинца в словца —
лишь бы не потерять лица...

Провожатые вразнобой
сокрушались, что молодой.
Я внимал, головой кивал,
а душою – не понимал.
Но всё менее мне пути
до его сорока пяти...

А как маму мою несли,
не хватило ей там земли,
и лежит от него вдали,
и растут над ней бодыли...

На погосте трава густа,
есть в ограде ещё места —
для себя, а не для меня
припасла их моя родня.
И расти мне в земле иной
новой веткою корневой.
Над Печорой?
Двиной?
Невой?

II

Поубавилась ныне Россия —
коренные да некоренные...
Сколько ратников пьют стремленные,

сколько путников на посошок —
так пласты шевелит временные
и волосья иной корешок.

Если он до нутра доберётся,
всё расколется да распадётся —
московиты да нижегородцы...
Как свою ни вынашивай спесь,
из-под всякой земли отзовется
чудь, земигола, мера иль весь.

Да и сами, сойдясь именами,
мы доньне живём племенами.
И иными когда временами
мы от лучших времён далеки,
кто поможет хотя бы словами?
Корешки, свояки, земляки...

Но куда инородцу податься
и какому народцу поддаться,
за какие колодцы сражаться,
а какие оставить навек?
Где бедою понудишься — братцы! —
и откликнется хоть человек?

Кто, на торную глянув дорогу,
за обитые сталью ворота
перехожему вынесет воду
и не справится, чая вреда:

а какого ты племени-роду
и какого явился сюда?..

В экипаже, по сути, убогом,
упираясь горбом или рогом,
по чашобам, степям и отрогам
материк опоясавших гор
по ухабистым русским дорогам
я изрядно резины истёр.

И в земле золотой или медной,
замечательной и незаметной,
изработанной и заповедной,
в суете городской и в глуши
и закатной порой, и рассветной
не встречал неприветной души.

Спелых яблок на тракт выносили,
невысокую цену просили,
кто, откуда, куда – спросили
не однажды, а всё не за страх —
любопытствующих не судили
никогда ни Христос, ни Аллах...

Не во многом расходятся правды
у неверных и басурман.
Воды Калки и воды Непрядвы
воедино смешал океан.
И единая нам основа

на грядущие времена —
коль не воинство Пугачева,
так Отечественная война.

И когда, выходя на дорогу,
мне потомок ордынских татар
вдруг воскликнет: «Аллаху акбар!»,
я отвечу ему: «Слава Богу...» —
чтобы в утро лугами росными
не дымами плыла заря,
чтобы яблони медоносные
не ломились плодами зря...

III

Но и впрямь: что нас гонит и гонит
в неизведанные пути?
Отчего изнывает и стонет
неприкаянный дух взаперти?
Отчего, только вскроются реки
и подсохнет окольная грязь,
бьётся птица в живом человеке.
о пруты костяные стучась?

То ли ведренная погода,
то ли ветренная порода,
то ли вечная несвобода

или вешняя колгота.
То ли ветхая изгорода
или дальняя долгота...

От рассвета и до рассвета
нас тревожит и то, и это,
перекатывается лето,
и ещё, и ещё одно —
всё быстрее кружит планета
жизненное веретено.

И непрочная нить стекает,
время зыбкое истекает
то подёщиной, то стихами.
Но и звуки – надолго ли?
И яснее моих стихали,
занесённые в ковыли.

Но в ковыльном тугом колчане
и угрюмом лесном качанье,
крике птицы и пса ворчанье
всё хранится живая речь.
Не услышать, не устеречь —
задохнётся земля в молчанье...

Так, смирясь или руки в боки,
безымянны и одиноки,
мы пройдем в стрежевом потоке
неизмеренной глубины —

доморощенные пророки,
местечковые плясуны...

Но досада буравит темя:
мол, ещё остается время,
чтобы ногу – в золотое стремя,
а железного не приму.
Дело вовремя – не беремья,
коль по норову да уму.

Коль поётся – без перепева,
безымянно – именовать!
Коль не любится королева,
так супругу короновать!

А поётся – в пути раздольном,
а корона – во граде стольном
да в биении колокольном
в раззолоченном во дворце
тяготой на челе невольном
да заботою на лице...

Вот я, милая, и катаюсь —
то ли, гордостью питаюсь,
удоволить её пытаюсь,
то ли дело себе сыскать,
чтобы силы, пока остались,
суетою не расплескать.

Но столица взирает строго:
мол, одна – а наезжих много...
Замыкает кольцо дорога.
и опять во дворе стою.
Остаётся поверить в Бога
и во близость к нему твою.

IV

Хлопоча поутру на кухне,
ты боишься, что мир твой рухнет,
и полуденный свет потухнет,
хохотнут за окном сычи,
и остынет постель в ночи,
сердце мёртвой тоской набухнет.

Или всё нажитое – комом,
чтобы в городе незнакомом
снова обзаводиться домом
и чужих узнавать людей,
что привыкли к иным законам —
откровеннее и лютей...

Но куда ценой такую
не куплю своего покоя.
Хоть порою до паранойи
бессловесная давит глушь,

остаюсь. Я отец и муж
в этом городе над рекою.

Всё имеет и цель, и суть,
основанье и приращенье,
если даже столетний путь
завершается возвращеньем.
Всё имеет и свет, и след,
осязаемо и упруго,
если двадцать протяжных лет
Пенелопа ждала супруга.
Но, грядущим певцам в пример,
допускать не желая фальши,
хитроумный слепец Гомер
не пропел, что случилось дальше...

2000 г.

«Из трещинок и нор...»

Брату Борису

Из трещинок и нор
невемые года
в ладони старых гор
стекается вода —
как будто человек,
дав хлеба лошадям,
подставился навек
светилам и дождям.
В жары да холода
заветрел, употел —
хотел умыться, да
уснул, не утерпел.
И, влагой поглотя
несметные срока,
сбегает по локтям
прохладная река...

Ай, воля-голытьба!
Да много ли труда,
коль сгнили желоба,
исчезли привода?
Душе да голове
по нынешней поре —

лишь кони на траве
да церква на горе,
коровы на мостах
в ошмётках кизяка,
да речи на устах
в домах из листвяка,
да шедшие сюда
утеху обрести,
покуда есть вода
в родительской горсти...

«Стрижи, как будто хлопья сажИ...»

Стрижи, как будто хлопья сажИ,
и хлопья сажИ, как стрижи,
почти неразличимо схоже
закладывают виражи.
Кругом подвох, везде обманка —
ни в чём незыблемости нет:
едва уверился – на свет
уже является изнанка...

Но с приближением концовки
припоминается и то,
как мама зимнее пальто
сдавала для перелицовки
и как великие умы,
дивясь, разглядывали снимки
обратной стороны Луны —
совсем не тёмной половинки...

Куросан¹

Слово знаю – Куросан.
Смутно да красиво...
Куросан – не круассан
и не Куроσιο:
в небо выйдя, говоришь
с целой степью разом,
хоть рукой подать – Париж
с Фершампенуазом.

От недюжинной войны
дюжинного года
эхо прежней старины,
дальнего похода.
Да иная новина
меньше ли жестока?
Приходили имена
после и с востока...

Упирается быльё
разворошенное:
это местное, своё,
доморощенное...

¹ Куросан (тюрк.) – пересыхающая река

Кочевали степняки
здесь – да миновали.
Казаки да мужики
не именовали.
Ветерок по волосам,
перекат лопочет...
Куросан так Куросан —
кура перескочит.

Временами пролились
молодые воды,
языками заплелись
разные народы —
скотоводы да купцы,
пахари да стражи...

А бывали огольцы,
что ныряли даже!
Так рассказывал отец
в давнем разговоре:
разбегается малец —
по колено море...
Проезжаю мимо сам —
сердце отдыхает:
и неполон Куросан —
а не пересыхает.

«Бабым летом на сытой ярмарке...»

Бабым летом на сытой ярмарке
в яр да морочный раскардаш
продавал наливные яблоки
избоченившийся торгаш.
С прибауткою да прибавкою
всё нахваливал, зазывал
и промеж разговора бабкою
громко маму мою назвал.
Будь варначьи дела посильными —
обязательно бы убил...
Будь те яблоки молодильными —
обязательно бы купил.

«Сбережение памяти – долгий невидимый труд...»

Сбережение памяти – долгий невидимый труд
обработки доставшихся от прародителей грядок...
В каждом городе мёртвых живые порядок блюдут,
а известно, какой у живых с городами порядок.

Утверждение правила – все по исходу равны:
даже камень не долее двух или трёх поколений
ущелеет под натиском неистребимой травы,
а тем более – ежевесенних её опалений.

Наставление родича – родичей не оставляй:
коли что приключится, то издали не обиходят...
Остывают архивы, спекается времени край.
И встречаются души – и места себе не находят.

«Здравствуй, мама!..»

Здравствуй, мама!

Ты уйдёшь со мною
с этой удивительной земли,
где льняной качают сединою
гибкие степные ковыли,
где слоятся над земною грудью
бурые пласты железняка,
где в листве былой тугие грузди
обещает свет березняка.

Облака идут тяжёлой цепью —
в них вода до края налита.
Долго ли продержится над степью
железобетонная плита?
Долго ль на эмали медальонной
уцелеют милые черты
над землёй, зимою прокалённой,
летом выжигающей цветы?

Друга друг мы наново не поняли,
и теперь не знаю, отчего
внучки не застали, не запомнили
голоса и взгляда твоего.
Даже если родичи по чести
выполют пожухлую траву —

мама,
ты уйдёшь со мною вместе.
Если брата я переживу.

«Снова потратили в отпуске тысячу баксов...»

Снова потратили в отпуске тысячу баксов.
Снова затягивать пояс до новой зарплаты.
Что тут поделаешь, ежели Север неласков,
дети хворают, а мы ни бедны, ни богаты?

Господи Боже, как осточертела Анапа —
суетный пляж и заросшая зеленью бухта!
Но принимаю как неотвратимое: надо
вывезти дочек на солнце и свежие фрукты.

Скиснет вино молодое в пластмассовых банках:
мы ведь не пьём – отпиваем из разного сорта.
Август рассыпался грушами на полустанках,
яблочный Спас над шоссе ароматом апорта.

Мимо базаров рулишь по кубанским станицам —
жалко до слёз, что в багажнике мало простора.
Скоро над ними гусиным лететь вереницам,
что по весне обживают лесные озёра.

Пусть и Анапе помашет гусиная стая,
где, как хозяин, курортного ждущий сезона,
наши монетки рачительно перебирая,

Чёрное море ворочаться будет бессонно.

Анапское солнце

Маису и Ольге Мхоян

I

Анапское солнце печёт и не располагает
ни к рифме, ни к мысли глубокой, особенно если
два раза на дню, как на службу исправный чиновник,
на пляж пробираешься мимо торговых палаток,
где справа и слева соседствует крем для загара
с таким же на вид, но уже для лечения ожогов;
купальники всяких калибров – с махрой полотенец,
откуда зазывно глядят неодетые девы;
акулы, дельфины, иная надутая живность —
с трусами, халатами и остальной дребеденью,
что раньше назвали бы колониальным товаром,
доставленным по морю, в бурю
и лично для нас контрабандой...

А в ноздри плывёт-затекает летучая дымка:
призыв шашлыка, исходящего соком на углях,
шурпы, шаурмы, хачапури, лаваша и плова.
И – голос разносчика, точно напев муэдзина:
– Горячая молодая кукуруза, медовая пахлава,

сладкая чурчхела, вафельные трубочки, свежая пицца, домашнее вино, вареные раки, холодное пиво...

На месте турецкой мечети давно православная церковь, а нечто восточное слышится в этом напеве — наверно, и в том виновато анапское солнце, на коем блестят серебром самолётные тушки, как будто хамса и селёдка на рыбном базаре, иль россыпь мальков, на рассвете снующих у пляжа, иль свежая плоть северян, что спустились по трапу и воздух солёный вдохнули прохладною грудью, и тотчас попали, как выпали, в цепкие руки настырных анапских извозчиков и квартирьеров. А встречным потоком метнуло косяк меднокожий, гремящий в карманах последней значенной медью, не брошенной в море, поскольку ещё до аванса семейству полмесяца надо на что-то кормиться...

II

Анапское солнце печёт и не располагает к телесной любви, ибо тела на пляже навалом, и тонкая ткань не скрывает ничьих достояний, тем паче иные и сами не слишком таятся, стараясь открыться лучам и рассеянным взглядам (открытий великих при этом еще не случилось). И ежели дева бесстыдно раскинется топless,

являя округе свои равнодушные формы, —
округу бесстыдство такое заденет едва ли:
анапское солнце печёт и не располагает...

Но после заката, омыты короткой прохладой,
людские тела – точно солнцем налитые кубки,
что переливают друг в друга горячую влагу,
вобравшую море и ветер, и зелень магнолий,
настоянный запах самшита, сосны и полыни,
упругую плоть абрикоса, черешни и сливы
и радостный ливень тяжёлого свежего мёда,
и пряное млеко из вымени матки пчелиной,
и сок огуречный, и кровь помидора и вишни,
и первые сладкие слёзы лозы виноградной —
но тихо и бережно, чтоб, не дай Бог, не проснулись
усталые дети, что спят на соседних кроватях,
наполнены теми же соками солнца и почвы.

III

Анапское солнце печёт и не располагает
к раздумьям о вывертах жизни, особенно если
нас вечером дядя Маис, хлебосольный хозяин,
за стол приглашает, коньяк наливает армянский —
мол, нынче такого не сыщешь – и тост возглашает
за отдых хороший и доброе наше здоровье.
За время почти ежегодных июльских гощений

мы пятую комнату в доме его обживаем,
что летом, подобно иным черноморским усадьбам,
числом постояльцев походит на суетный улей:
как пчёлки, они поутру норуют за ворота,
спеша напитаться нектаром анапского солнца...

Пожалуй, на фоне иных, по сегодняшним меркам,
глядится сей улей весьма и весьма неказисто:
сосед вон уже трёхэтажные вывел хоромы,
а дядя Маис и второго никак не достроит.
– Что делать, – он мне говорит, – самолёт нынче дорог...
Он сам ни ногой из Анапы,
но дети, племянники, внуки... —
веками армян рассыпает по белому свету.
Зимой ереванская правнучка вдруг заболела:
сюда привезли, показали анапским светилам,
а это светила земные, без денег не лечат...
Его самого прихватило на прошлой неделе —
в больницу ложиться не стал, а теперь полегчало
и праздник в семье – у свояченицы день рожденья,
а эта семья нас почти как своих привечает...

Шашлык в доме дяди Маиса – отдельная песня.
Запев – рано утром на рынке, где свежее мясо
сурово-придирчиво дядя Маис выбирает,
ворча, что пришли поздновато и выбора мало,
потом баклажан-маклажан, помидор-момидоры
и травы-приправы...
А после обеда вступают в мелодию угли

на чёрном, как Робсон и Эллингтон
или же Армстронг, мангале,
и дядя Маис – дирижёром за Герберта фон Караяна.
И апофеоз: поедание сочной свинины,
приправленной соусом из маклажан-момидоров,
запитой домашним вином из хозяйских запасов
под здравицы в честь дяди Миши,
как все его здесь величают,
и в честь тёти Оли, его черноглазой супруги...

До песни такой мы к полуночи и расстаёмся,
на сон предстоящий послушав рассказ дяди Миши,
как в шестидесятые, бегая от прокурора,
он года четыре на Западной жил Украине,
покуда в Анапе грозил ему срок шестилетний
за то, что теперь почитается за добродетель.
А впрочем, к раздумьям о нашей причудливой жизни
анапское пекло нимало не располагает...

IV

Анапское солнце палило и располагало
лишь к долгой сиесте, когда, утомлённые зноем,
грузённые спелой черешней с Казачьего рынка,
привычной дорогой мы к нашему дому вернулись,
и тихая Рита сказала, что дедушка умер...
Армянские женщины чёрные платья надели,

мужчины на лавочках хмуρο курили и ждали решения, когда хоронить – как положено или позднее: два брата в Тбилиси, покуда им выправят визу, пока прилетят, да к тому же бумагу о смерти напишут и выдадут завтра не раньше полудня...

Назавтра с утра широко распахнули ворота, и вместе с последним, ненужным ему документом вернулся домой на последний ночлег дядя Миша. И мы с тётёй Олей в ночи посидели у гроба — на случай нашлась у жены даже чёрная блузка (как всё-таки женщины нас приспособленной к жизни!), а я по-простому, в футболке – прости, дядя Миша... И нам тётя Оля сквозь слёзы поведала, как он своими ногами до «скорой» и после, в больнице, дошёл до каталки и лёг, и просил: «Помогите...», и капли холодного пота на лбу выступали... А медики пили спокойно предутренний кофе. Но их тётя Оля ни в чем обвинять не хотела — врачи, говорила, наверное, всё уже знали...

Шесть красных гвоздик продавщица вручила мне книзу цветками.

Я нёс их по городу, точно опущенный факел, какие видал на могильных камнях древнеримских. А в доме дудук причитал, и задумчивый голос пел нечто восточное – мне показалось, про горы, на склонах которых стоят Ереван и Тбилиси. И стол, за которым три ночи назад дядя Миша

коньяк наливал нам и тост говорил про здоровье,
был ножками вверх опрокинут – последней опорой
его домовине служили теперь эти ножки...

А солнце всё так же с небесных высот полыхало,
на берег песчаный бежала волна за волною,
и падал с ветвей абрикос на двухтысячелетние стены
Горгиппии – города, что основали здесь древние греки.

– Как будто всё так и должно быть... —

сказала потом тётя Оля

за тем же столом, пригласив на поминки соседей,
и не было ропота в этих словах её горьких.

Анапское солнце...

2003 г.

«Нынче такая жара...»

Нынче такая жара —
голуби падают с неба.
Даже когда вечера,
хочется свежего снега,
да не с январских полей —
на щеку тыщами острий,
и не с больших тополей,
нащекотавшего ноздри...

Путает головы зной —
и не пьяны, а поёны,
а через порох земной
лезут на свет шампиньоны,
напоминая: привет,
полной погибели плоти
в солнечном круговороте
нет — хоть и вечности нет...

Игра в города



Ой, рябина-рябина,
Вышел милому приказ
жизнью похарибана,
отправляться на Кавказ.
Так рябина рожена –
Соберётся – будем делать
слаще, кой-е морозца,
ребятёнка про запас.
Пусть родится сыночка –
тоже ягодиночка.

и г р а в г о р о д а

«Прихотлива человечья воркота...»

Прихотлива человечья воркота,
да поверить невозможно и на горсть.
Разве город голубиный Воркута?
Разве манит, как магнит, Магнитогорск?

В Сыктывкаре да Кудымкаре ворон
не с лихвою, хоть и не наперечёт.
Тих Звенигород, и вовсе тихий Дон
не по звону колокольному течёт.

Нижний Новгород давно уже велик,
а Великий и подавно не новьё,
но под древний домотканый половик
не суёт былое первенство своё.

И покуда под сосновою корой
свежей смолкою – былины про Илью,
малый Муром не покажется мурой,
миновавшей мировую колею.

Можно всё на свете напрочь поменять,
но, пока не вещество, а существо,
слыша звон, желаю ясно понимать,
где впервые я наслушался его.

И покуда человечесьей колготой
не забиты перепевы звонарей,
мне казаться будет, что над Воркутой
я взаправду летом видел сизарей.

«Однажды в единении с народом...»

Однажды в единении с народом
варил я две железки электродом.
Так профориентировали нас:
из класса школьного – в рабочий класс.

Исход ориентации летален —
погиб во мне уральский пролетарий.
Но с тех отодвигающихся пор

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.